

ЧЕРНО-БЕЛАЯ ГЕОМЕТРИЯ

Художник Франц Мазерель делил мир на угнетенных и угнетателей

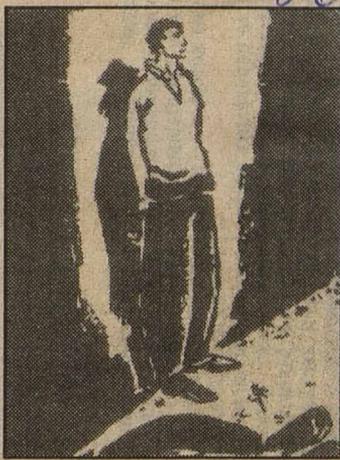
Независимая газ. — 1996. — 26 июля. — с. 7

Александр Мелихов

Мир искусства

ОТВОРЧЕСТВЕ Франса Мазереля (1889—1972) неплохо писала и советская критика — разве что слабости Мазереля в ней именовались его достоинствами. Упрощенное, «черно-белое» разделение мира на крохотных угнетенных и злобных угнетателей, упрощенные, плакатные решения трагически сложных общественных проблем (священник, благословляющий пушку, буржуй в цилиндре, выступающий перед собой беззащитного новобранца) провозглашались глубокими социальными обобщениями, наивный утопический оптимизм превозносился как доблесть, а каждая нота сомнения, неоднозначности со вздохом признавалась снижением творческого накала.

Творчество Мазереля не случайно имело бóльший успех среди литераторов, чем среди живописцев: он любил строить графические циклы (иногда в «поистине кинематографическом темпе»), стараясь графическую выразительность дополнить сюжетной повествовательностью. Так, например, цикл «Идея» состоит из 83 графических листов: то Идею, нагую женскую фигурку, любовно держит в руках творец, то за него гонятся преследователи, то ее жгут на площади под ликование буржуев, а она вместе с дымом возносится в небеса, то Идея, уже вознесшаяся из пламени, бежит над проводами, и догнать ее теперь намного сложнее. Образ, может быть, и не лишенный поэзии, но очень уж опять-таки упрощенный: мерзкие топчущие гонители и трогательная беззащитная их жертва. Но ведь сколько прекраснотных идей содержит в себе смертельную опасность, и сколько идей, самых мудрых и возвышенных, гибнет от равнодушия людей вообще не злых, а просто туповатых...



Франц Мазерель. «Расстрел». Кинофотография. 1918.

Упрощенность решения можно даже считать результатом упрощенности самой кинографии (гравюры на дереве), не способной передавать более тонкие нюансы. Но этому сразу же противоречит цикл «Город». Город Мазереля — это не «город-спрут» другого знаменитого фламандца Эмиля Верхарна. Это и не многоцветный праздничный, либо овеванный печальной дымкой город импрессионистов. Город Мазереля — это, прежде всего, строгая черно-белая геометрия: бесконечные прямоугольники, треугольники — только прямые, только ломаные линии... Впрочем, нет: виднеется и множество мягких округлых крон, клонящихся под ветром, — это клубы дыма из фабричных труб. Но в этих кронах не могут жить сказочные девы — дриады...

Люди, однако, в этом городе живут. «Горогов Вавилонские башни», — вспоминается Маяковский: сколько ни возводи глаза к небу — все равно будет громоздиться только крыши, только трубы, только окна, окна, окна... И в каждом окне — люди. Люди обнимающиеся, передевающиеся, занимающиеся хозяйством и — не ведающие, что происходит

в полутора метрах, за стеной, над головой, под ногами... В зависимости от расположения духа можно почувствовать и тоску (как мал и одинок человек в этом муравейнике!), и умиротворение — всюду жизнь, даже эти каменные клетки могут наполнить теплом и уютом. Отчаяние в этом городе бывает ужасным — изломанные тени, ровные, бесконечные, непроницаемые ограды, гигантские параллелепипеды, призмы фабричных зданий, возносящихся в головокружильную высь... но где, скажите, отчаяние перестает быть отчаянием? А любовь всюду любовь. С нею и уличный фонарь становится праздничным, как солнце, и нагромождение крыш и башен становится не пугающим, а манящим, как горный хребет с волшебным полумесяцем над ним, и уличная нищенка превращается в крохотку Богоматерь.

При первом взгляде на гравюру «Дым» чувствуешь прежде всего толчок восхищения: оказывается, и эти дымные кроны человеческая фантазия может населить сказочными девами. Только взглядевшись повнимательнее, начинаешь различать проступившую из-под поэзии агитку: это «жертвы капиталистического производства» — стенающие, взывающие, депляющиеся друг за друга «да неподвижной геометрии фабричных зданий. (Трубы концлагерей превратили эту гравюру в некое зловещее предзнаменование.)

Зато Мазерель сделал великолепные иллюстрации к «Легенде об Уденшигеле» — с огромной любовью к родной Фландрии; в своей лаконичной манере он поведал нам поэтичнейшую историю моряка, сильного мужчины, завороженного зовом русалки, — и наверняка не исчерпал этим поэзию своей души. Но так трудно приходится лирику, если чувство долга велит ему вмешаться в мировые конфликты, о которых ему совершенно нечего сказать!

Санкт-Петербург